

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



А. П. Чехов
**ЛОШАДИНАЯ
ФАМИЛИЯ**



Антон Павлович Чехов
Лошадиная фамилия.
Рассказы и водевили
Серия «Школьная библиотека
(Детская литература)»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=25277859

Лошадиная фамилия : рассказы и водевили / А. П. Чехов; вступ. ст. Н.

Шер ; худож. В. Бритвин.: Детская литература; Москва; 2010

ISBN 978-5-08-004546-2

Аннотация

В книгу вошли юмористические рассказы и водевили Антона Павловича Чехова: «Пересолил», «Толстый и тонкий», «Хирургия», «Налим», «Предложение», «Юбилей» и другие. Для среднего школьного возраста.

Содержание

Антон Павлович Чехов (1860–1904)	6
Рассказы	18
Пересолил	19
Толстый и тонкий	27
Смерть чиновника	33
Хамелеон	37
Унтер Пришибеев	45
Восклицательный знак	53
Лошадиная фамилия	60
Хирургия	67
Дорогая собака	74
Размазня	78
Шуточка	83
Конец ознакомительного фрагмента.	87



Антон Павлович Чехов

Лошадиная фамилия.

Рассказы и водевили

Антон Павлович Чехов (1860–1904)

Короткий зимний день подходил к концу. Ученик третьего класса таганрогской гимназии Антоша Чехов готовил уроки. Перед ним на столе лежала раскрытая латинская грамматика, в медном подсвечнике мигала сальная свеча, по углам ползли тени. Было тихо, тепло. Антоша неторопливо снял щипцами нагар со свечи, написал в тетради число. В это время в комнату вошел отец Павел Егорович, в шубе, в больших кожаных калошах, и сказал:

– Ступай в лавку.

Антоша не пробовал возражать: он заранее знал, что ничего из этого не выйдет, закрыл грамматику и пошел за отцом.

Небольшая бакалейная лавка с большой вывеской над входом: «Чай, сахар, кофе и другие колониальные товары» – помещалась в том же доме, внизу. Открыта она была с пяти часов утра до одиннадцати ночи, и, когда отец куда-нибудь уходил, в лавке по очереди сидели дети. Детей было шесте-

ро: пять сыновей и одна дочь. Антоша сел за конторку, но в лавке холодно, чернила замерзли, и уроков делать нельзя. Он съежился, запихнул руки в рукава так же, как Андрюша и Гаврюша, его ровесники и друзья, которых недавно привезли из деревни и отдали Павлу Егоровичу в «ученье на года». И хоть Антоша – хозяйский сын, получает деньги с покупателей, присматривает за мальчиками, но его наказывают так же, как их. Все трое чувствуют себя одинаково несчастными.

Павел Егорович сам когда-то прошел тяжелую школу, тоже был «мальчиком» в лавке, унижался, угождал хозяевам, терпел побои. Он искренне верил в то, что детей нужно наказывать для их же пользы, и говорил: «Меня так же учили, а я, видишь, вышел в люди».

Когда Антоше исполнилось восемь лет, его отдали в гимназию, где уже учились старшие братья. Антоше не нравилась гимназия. Веселому, подвижному мальчику неуютно было в больших холодноватых классах, скучно было сидеть на уроках. Классы выходили в полутемные коридоры; в каждой двери было круглое окошко; надзиратель, как часовой, шагал по коридору и заглядывал в окошки – следил за поведением учащихся.

В театр разрешалось ходить только с родителями в праздничные дни, но братья Чеховы в театре бывали часто; они переодевались, наклеивали бороды, усы, надевали синие очки и старались прошмыгнуть мимо надзирателя на галерку. «Для меня не было большего наслаждения, как сидеть в те-

атре», – вспоминал Чехов. Дома Антоша постоянно кого-то изображал: зубного врача, важного чиновника, танцующего на балу, старого профессора. А как-то загримировался, переделся нищим, написал жалобное письмо и пошел к дяде. Дядя не узнал племянника, разжалобился и подал ему три копейки.

Антоша был неистощим на выдумки, да и все братья Чеховы любили шутку, понимали ее, умели смеяться; казалось, смех, веселая, озорная шутка защищали их от всего тяжелого, что было в их жизни.

Зима обычно тянулась долго; Антоша с нетерпением ждал, когда с моря перестанет дуть сердитый ветер, загорится жаркое солнце, зацветет акация и прекрасная необозримая степь покроется серебристой полынью, голубыми цветами цибульки. Мальчики убегали в степь, к морю, купались, удили рыбу, ездили с матерью в гости к деду на далекий степной хутор. Мать свою, Евгению Яковлевну, дети очень любили. Она как-то умела смягчать суровый нрав отца, вносила в их жизнь много ласки, уюта, умела объединить семью, сплотить ее вокруг себя. «Для нас дороже матери ничего не существует», – писал Антоша, когда стал постарше.

Антоше было четырнадцать лет, когда старшие братья, Александр и Николай, окончили гимназию и уехали учиться в Москву. Через год туда же переехала вся семья.

Антон и брат Иван остались в Таганроге: им надо было заканчивать гимназию.

Дом Чеховых был продан за долги. Новый хозяин предложил Антоше угол за уроки, которые он должен был давать его племяннику. Иван переехал к тетке, и Антоша остался один в родном доме, который стал чужим для него. Теперь он уже не сидел в лавке, никто не наказывал его, но жить было еще труднее. Новые заботы легли на его плечи: надо было самому заботиться о себе, платить за учение, помогать родным, которые очень нуждались в Москве. Знакомые помогли ему достать несколько уроков, и после занятий в гимназии он ходил по урокам, занимался с детьми – репетировал их. Один урок был далеко на окраине города. Осенью там стояла непролазная грязь. Калош у Антоши не было, и, садясь заниматься с учеником, он старался спрятать под стол свои грязные рваные сапоги. Как-то Антоша, узнав, что одному из товарищей живется еще хуже, предложил заниматься с учеником по очереди и разделил с товарищем свой заработок – три рубля в месяц. Бедность, как говорил Чехов, мучила его тогда, как зубная боль. Он очень скучал без семьи, особенно без братьев; близких друзей в Таганроге у него не было. Антон по-прежнему увлекался театром, много читал. В гимназии издавались рукописные журналы, и он сотрудничал в этих журналах и посылал старшим братьям свои литературные опыты, а братья беспощадно критиковали эти первые произведения молодого писателя. Самостоятельная одинокая жизнь давалась Антоше нелегко. В борьбе с трудностями он становится мужественнее, взрослее.

Так прошло три года. Антоша окончил гимназию и уехал в Москву. Родных своих застал он в тяжелом положении, в сырой и холодной квартире подвального этажа. Отец зарабатывал очень мало, мать шила, старшие братья учились и время от времени работали в журналах: Александр писал рассказы, очерки, Николай рисовал. Даже младший брат, Михаил, переписывал за деньги студенческие лекции. Но денег все-таки не хватало, и в гимназию за сестру Машу платили какие-то благодетели.

Антону было уже девятнадцать лет; он поступил в университет на медицинский факультет. Учился он много, усердно, с большим интересом слушал лекции знаменитых профессоров: Тимирязева, Склифосовского. Но ему нельзя было только учиться – приходилось зарабатывать деньги, чтобы помогать семье. И вот он решил послать в журнал очень коротенький и смешной рассказ, который назывался «Письмо донского помещика к ученому соседу д-ру Фридриху». Конечно, Антон очень волновался, пока пришел ответ. А ответ был такой: «Совсем недурно. Присланное поместим...» Через два месяца рассказ напечатали. Это был первый напечатанный рассказ Чехова и первый его литературный заработок.

С тех пор рассказы Чехова стали часто появляться в журналах. Подписывал он их не своим настоящим именем, а разными псевдонимами, чаще всего «Антоша Чехонте» – прозвище, которое дал ему один из учителей таганрогской гим-

назии. Чего только не писал Чехов в эти первые годы своей литературной работы: заметки, анекдоты, подписи к рисункам, очерки, рассказы. Брат Николай – хороший художник – иногда рисовал к его рассказам иллюстрации. Писать приходилось часто по ночам: днем надо было учиться. Платили за работу очень мало, несколько копеек за строчку, да и за этими заработанными грошами приходилось ходить в редакции раз по десять. Но зато как был счастлив Антон и как радовалась мать, когда он однажды сказал, что сам теперь будет платить за учение сестры Маши.

Студенческие годы подошли к концу. Когда Чехов окончил университет и получил диплом врача, ему было двадцать четыре года. На входных дверях чеховской квартиры появилась вывеска: «Доктор А. П. Чехов». Стали приходить больные; практики было много, но половина больных лечилась у Чехова бесплатно – это все были знакомые или такие же бедняки, как он сам. «Я врач и по уши втянулся в медицину», – говорил Чехов, и он был, как вспоминали товарищи по работе, превосходным врачом, вдумчивым, терпеливым, добросовестным. Но доктор Чехов не бросал своих литературных занятий, он продолжал писать, и скоро вышел первый сборник рассказов Антоши Чехонте. Когда много лет спустя один из друзей спросил, сколько Чехов написал рассказов в первые годы своей работы, он ответил: «Около тысячи».

Рассказы Чехова почти всегда очень короткие. «Умею коротко говорить о длинных вещах», – как-то сказал о себе Че-

хов. Вы прочтете в этой книжке рассказ «Ванька». Как много говорит нам этот небольшой рассказ! Перед нами как бы проходит вся нерадостная Ванькина жизнь и в деревне с дедушкой, и в мастерской у сапожника. И невольно думаем мы о всех тех детях, которым жилось так же трудно, как Ваньке, в то далекое время, которое уже никогда не вернется. Думаем и о том, как крепко, по-настоящему любил Чехов детей, если мог написать такие рассказы, как «Ванька», «Беглец», «Мальчишки», и еще много других рассказов о детях. Маленького беглеца Чехов, должно быть, лечил, когда работал в деревенской больнице; а как по-хорошему, весело, с какой доброй любовью посмеялся он над мальчиками Чечевицыным и Володей, которые собрались бежать в Америку!

Но не всегда весело смеялся Чехов; очень часто рассказы его, как будто бы простые и обыкновенные, о простых и обычных делах и днях, только кажутся смешными. Стоит немного подумать над ними, заглянуть в них поглубже, и становится грустно. Вот рассказ «Лошадиная фамилия». Конечно, очень смешно рассказал Чехов о том, как весь дом вспоминал лошадиную фамилию того человека, который умеет заговаривать зубы. Но подумайте хорошенько, и за этим смешным рассказом вы увидите такую скучную и серую жизнь, таких грубых, невежественных людей, что, уж наверное, никому из вас не захотелось бы жить с ними.

Прошло несколько лет. Все больше и больше понимал Чехов, что настоящее его призвание не медицина, а литерату-

ра. Однажды Чехов получил письмо от Дмитрия Васильевича Григоровича – известного писателя, автора многих хороших повестей, рассказа «Гуттаперчевый мальчик», который вы все знаете. Григорович писал о том, как поразили его маленькие рассказы Чехова, приветствовал его большой талант. Письмо это обрадовало и взволновало Чехова. Хотелось писать лучше, больше, написать что-нибудь особенно значительное. И Чехов задумал небольшую повесть о том, что дорого было ему с самого детства, – о степи, о степных людях, птицах, ночных грозах. Он уехал в Таганрог, чтобы снова увидеть степь, освежить свои детские впечатления. И снова, как в детстве, степь восхитила его. «Пахнет степью, и слышно, как поют птицы. Вижу старых приятелей – коршунов, летающих над степью», – писал Чехов из Таганрога. И, вернувшись в Москву, написал чудесную поэтическую повесть о родной степи, о маленьком Егорушке, который впервые едет по степи и, может быть, немного похож на самого Чехова, каким он был в детстве.

«Голубчик, Антон Павлович!.. – писал ему поэт Плещеев, прочитав повесть. – Не мог оторваться, начавши читать... Это такая прелесть, такая бездна поэзии, что я ничего другого сказать вам не могу и никаких замечаний не могу сделать – кроме того, что я в безумном восторге...»

Но вам пока еще не совсем будет понятна и эта повесть «Степь», и очень многие рассказы и пьесы Чехова. Пройдет несколько лет, вы станете старше и поймете тогда, какой ве-

ликий писатель и удивительный человек был Чехов, как любил он свою родину, простых русских людей. «Как богата Россия хорошими людьми», – говорил он.

И сам Чехов был вот таким хорошим человеком русской земли, скромным, большим тружеником, одним из самых любимых писателей России. Но если кто-нибудь при нем заговаривал об этом, он смущенно улыбался и уверял, что он самый обыкновенный «добросовестный литератор», что ему надо еще много учиться, больше путешествовать. Путешествовал он очень много: бывал за границей, знал Крым, Кавказ, объездил всю Украину. Он говорил, что писатель должен хорошо знать свою родину, всегда узнавать новые места, новых людей. И он решил ехать на остров Сахалин, посмотреть, как живут там люди, – в те годы Сахалин был местом ссылки. Путешествие предстояло трудное. Сибирской железной дороги еще не было, и Чехову пришлось плыть по рекам на пароходах, трястись в тарантасе по «убийственным дорогам» несколько тысяч верст. Чем ближе подъезжал он к Сахалину, тем больше восхищался дикой природой края и всё время жалел, что не поехал с ним друг его, художник Левитан, которого он считал лучшим пейзажистом.

На Сахалине Чехов пробыл всего три месяца и за это время проделал огромную работу: объездил все поселения, заходил во все избы, разговаривал с жителями, переписал все население острова – десять тысяч карточек, заполненных рукой Чехова, хранятся в музеях и архивах писателя. В Моск-

ву вернулся он усталый, больной, но очень довольный своей поездкой. Через несколько лет появилась книга «Остров Сахалин»; до Чехова никто никогда не писал такой суровой правды о тогдашнем «сахалинском аде».

Шли годы.

Чехов неумоимо работал, писал рассказы, повести, пьесы, снова мечтал о поездках по стране. Но он уже давно был тяжело болен туберкулезом легких, и врачи запретили ему путешествовать, жить на севере.

И вот Чехов с матерью и сестрой в Ялте. Сестра, та самая маленькая Маша, за которую он студентом платил в гимназию, теперь взрослая. Очень рано поняла она, какой замечательный писатель Чехов, беззаветно любила брата и делала все, чтобы он мог спокойно жить и работать. Отца уже не было в живых. Чеховы жили на окраине Ялты, в белом двухэтажном доме. Вокруг пустырь, камни, чертополох. С ранней весны Чехов работал на пустыре: сажал деревья, разбивал цветники – ему нравилось украшать землю. «Ведь здесь же до меня был пустырь и нелепые овраги, все в камнях и чертополохе, – говорил он, – а я вот пришел и сделал из этой дичи культурное, красивое место... Знаете ли... через триста – четыреста лет вся земля обратится в цветущий сад, и жизнь будет тогда необыкновенно легка и удобна». Но Чехов тосковал по северу, по мокрым полям и перелескам, по обрывистым берегам, заросшим кустарником. Тосковал по Москве, по людям, по Художественному театру, где в эти го-

ды шли его пьесы, по жене – артистке Ольге Леонардовне Книппер. «Приходится делать над собою усилие, чтобы жить здесь изо дня в день и не роптать на судьбу», – писал он.

В ялтинском доме всегда было много посетителей. Часто приезжали поговорить, посоветоваться с любимым писателем те простые русские люди, о которых он так много писал, – учителя, врачи, ученые... Однажды Чехов пришел с прогулки очень веселый, это с ним редко случалось в последние годы. «У меня была сейчас чудесная встреча! – сказал он. – На набережной вдруг подходит ко мне офицер-артиллерист, совсем молодой еще, подпоручик. «Вы Антон Павлович Чехов?» – «Да, это я. Что вам угодно?» – «Извините меня за навязчивость, но мне так давно хочется пожать вашу руку!» И покраснел. Такой чудесный малый, и лицо милое. Пожали мы друг другу руки и разошлись».

Так часто совсем незнакомые люди благодарили Чехова за ту радость, которую доставляли им его рассказы.

Как-то зимой приехал в Ялту Левитан – друг всей семьи Чеховых. Дул холодный ветер, в саду шумели кипарисы, в кабинете у Чехова горел камин. Левитан сидел в кресле перед камином. Чехов ходил по комнате, чуть сгорбившись, медленно. Глаза у него были усталые, и говорил он о том, как хочется ему на север – посмотреть березки, поле, лес... Тогда Левитан попросил кусок картона, и Чехов смотрел, как под удивительной кистью художника оживает поле, темнеет полоска леса вдаль, стоят под луной стога сена. Это была

земля, на которой он родился, жил, которой отдал все свои силы.

Н.Шер

Рассказы

РАССКАЗЫ



Пересолил



Землемер Глеб Гаврилович Смирнов приехал на станцию «Гнилушки». До усадьбы, куда он был вызван для межевания, оставалось еще проехать на лошадях верст тридцать – сорок. (Ежели возница не пьян и лошади не клячи, то и тридцати верст не будет, а коли возница с мухой да кони наморены, то целых пятьдесят наберется.)

– Скажите, пожалуйста, где я могу найти здесь почтовых лошадей? – обратился землемер к станционному жандарму.

– Которых? Почтовых? Тут за сто верст путевой собаки не сыщешь, а не то что почтовых... Да вам куда ехать?

– В Девкино, имение генерала Хохотова.

– Что ж? – зевнул жандарм. – Ступайте за станцию, там на дворе иногда бывают мужики, возят пассажиров.

Землемер вздохнул и поплелся за станцию. Там, после долгих поисков, разговоров и колебаний, он нашел здоровейшего мужика, угрюмого, рябого, одетого в рваную сермягу и лапти.

– Черт знает какая у тебя телега! – поморщился землемер,

влезая в телегу. – Не разберешь, где у нее зад, где перед...

– Что ж тут разбирать-то? Где лошадиный хвост, там перед, а где сидит ваша милость, там зад...

Лошаденка была молодая, но тощая, с растопыренными ногами и покусанными ушами. Когда возница приподнялся и стегнул ее веревочным кнутом, она только замотала головой, когда же он выбранился и стегнул ее еще раз, то телега взвизгнула и задрожала, как в лихорадке. После третьего удара телега покачнулась, после же четвертого она тронулась с места.

– Этак мы всю дорогу поедem? – спросил землемер, чувствуя сильную тряску и удивляясь способности русских возниц соединять тихую, черепашую езду с душой выворачивающей тряской.

– До-о-едem! – успокоил возница. – Кобылка молодая, шустрая... Дай ей только разбежаться, так потом и не остановишь... Но-о-о, прокля-а-тая!

Когда телега выехала со станции, были сумерки. Направо от землемера тянулась темная замерзшая равнина, без конца и краю... Поедешь по ней – так наверно заедешь к черту на кулички. На горизонте, где она исчезала и сливалась с небом, лениво догорала холодная осенняя заря... Налево от дороги в темнеющем воздухе высились какие-то бугры, не то прошлогодние стоги, не то деревня. Что было впереди, землемер не видел, ибо с этой стороны все поле зрения застилала широкая, неуклюжая спина возницы. Было тихо, но

холодно, морозно.

«Какая, однако, здесь глушь! – думал землемер, стараясь прикрыть свои уши воротником от шинели. – Ни кола ни двора. Не ровён час – нападут и ограбят, так никто и не узнает, хоть из пушек пали... Да и возница ненадежный... Ишь какая спинуща! Этакое дитя природы пальцем тронет – так душа вон! И морда у него зверская, подозрительная».

– Эй, милый, – спросил землемер, – как тебя зовут?

– Меня-то? Клим.

– Что, Клим, как у вас здесь? Не опасно? Не шалят?

– Ничего, Бог миловал... Кому ж шалить?

– Это хорошо, что не шалят... Но на всякий случай все-таки я взял с собой три револьвера, – соврал землемер. – Ас револьвером, знаешь, шутки плохи. С десятью разбойниками можно справиться...



Стемнело. Телега вдруг закрипела, завизжала, задрожала и, словно нехотя, повернула налево.

«Куда же это он меня повез? – подумал землемер. – Ехал все прямо и вдруг налево. Чего доброго, завезет, подлец, в какую-нибудь трущобу и... и... Бывают ведь случаи!»

– Послушай, – обратился он к вознице. – Так ты говоришь, что здесь не опасно? Это жаль... Я люблю с разбойниками драться... На вид-то я худой, болезненный, а силы у меня, словно у быка... Однажды напало на меня три разбойника... Так что ж ты думаешь? Одного я так трахнул, что... что, понимаешь, Богу душу отдал, а два другие из-за меня в Сибирь пошли на каторгу. И откуда у меня сила берется, не знаю... Возьмешь одной рукой какого-нибудь здоровилу, вроде тебя, и... и сковырнешь.

Клим оглянулся на землемера, заморгал всем лицом и стегнул по лошаденке.

– Да, брат... – продолжал землемер. – Не дай бог со мной связаться. Мало того что разбойник без рук, без ног останется, но еще и перед судом ответит... Мне все судьи и исправники знакомы. Человек я казенный, нужный... Я вот еду, а начальству известно... так и глядят, чтоб мне кто-нибудь худа не сделал. Везде по дороге за кустиками урядники да сотские понатыканы... По... по... постой! – заорал вдруг землемер. – Куда же это ты въехал? Куда ты меня везешь?

– Да нешто не видите? Лес!

«Действительно, лес... — подумал землемер. — А я-то испугался! Однако не нужно выдавать своего волнения... Он уже заметил, что я трушу. Отчего это он стал так часто на меня оглядываться? Наверное, замышляет что-нибудь... Раньше ехал еле-еле, нога за ногу, а теперь ишь как мчится!»

— Послушай, Клим, зачем ты так гонишь лошадь?

— Я ее не гоню. Сама разбежалась... Уж как разбежится, так никаким средством ее не остановишь... И сама она не рада, что у ней ноги такие.

— Врешь, брат! Вижу, что врешь! Только я тебе не советую так быстро ехать. Попридержи-ка лошадь... Слышишь? Попридержи!

— Зачем?

— А затем... затем, что за мной со станции должны выехать четыре товарища. Надо, чтоб они нас догнали... Они обещали догнать меня в этом лесу... С ними веселей будет ехать... Народ здоровый, коренастый... у каждого по пистолету... Что это ты все оглядываешься и движешься, как на иголках? А? Я, брат, тово... брат... На меня нечего оглядываться... интересного во мне ничего нет... Разве вот револьверы только... Изволь, если хочешь, я их выну, покажу... Изволь...

Землемер сделал вид, что роется в карманах, и в это время случилось то, чего он не мог ожидать при всей своей трусости. Клим вдруг вывалился из телеги и на четвереньках побежал к чаще.

– Караул! – заголосил он. – Караул! Бери, окаянный, и лошадь и телегу, только не губи ты моей души! Караул!

Послышались скорые удаляющиеся шаги, треск хвороста – и все смолкло... Землемер, не ожидавший такого реприманда¹, первым делом остановил лошадь, потом уселся поудобней на телеге и стал думать.

«Убежал... испугался, дурак... Ну, как теперь быть? Самому продолжать путь нельзя, потому что дороги не знаю, да и могут подумать, что я у него лошадь украл... Как быть?»

– Клим! Клим!

«Клим!..» – ответило эхо.

От мысли, что ему всю ночь придется просидеть в темном лесу на холоде и слышать только волков, эхо да фыркание тощей кобылки, землемера стало коробить вдоль спины, словно холодным терпугом.

– Климущка! – закричал он. – Голубчик! Где ты, Климущка?

Часа два кричал землемер, и только после того, как он охрип и помирился с мыслью о ночевке в лесу, слабый ветерок донес до него чей-то стон.

– Клим! Это ты, голубчик? Поедем!

– У... убьешь!

– Да я пошутил, голубчик! Накажи меня Господь, пошутил! Какие у меня револьверы! Это я от страха врал! Сделай милость, поедem! Мерзну!

¹ Реприманд – неожиданность (устар.).

Клим, сообразив, вероятно, что настоящий разбойник давно бы уж исчез с лошадьё и телегой, вышел из лесу и нерешительно подошел к своему пассажиру.

– Ну, чего, дура, испугался? Я... я пошутил, а ты испугался... Садись!

– Бог с тобой, барин, – проворчал Клим, влезая в телегу. – Если б знал, и за сто целковых не повез бы. Чуть я не помер от страха...

Клим стегнул по лошаденке. Телега задрожала. Клим стегнул еще раз, и телега покачнулась. После четвертого удара, когда телега тронулась с места, землемер закрыл уши воротником и задумался. Дорога и Клим ему уже не казались опасными.

Толстый и тонкий

На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля: один толстый, другой тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни. Пахло от него хересом и флёрдоранжем². Тонкий же только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, узлами и картонками. Пахло от него ветчиной и кофейной гущей. Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком – его жена, и высокий гимназист с прищуренным глазом – его сын.

– Порфирий! – воскликнул толстый, увидев тонкого. – Ты ли это? Голубчик мой! Сколько зим, сколько лет!

– Батюшки! – изумился тонкий. – Миша! Друг детства! Откуда ты взялся?

Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза, полные слез. Оба были приятно ошеломлены.

– Милый мой! – начал тонкий после лобызания. – Вот не ожидал! Вот сюрприз! Ну, да погляди же на меня хорошенько! Такой же красавец, как и был! Такой же душонок и щеголь! Ах ты, Господи! Ну, что же ты? Богат? Женат? Я уже женат, как видишь... Это вот моя жена, Луиза, урожденная Ванценбах... лютеранка... А это сын мой, Нафанаил, ученик III класса. Это, Нафаня, друг моего детства! В гимназии вме-

² Флёрдоранж – белые цветы померанцевого дерева.

сте учились!

Нафанаил немного подумал и снял шапку.

– В гимназии вместе учились! – продолжал тонкий. – Помнишь, как тебя дразнили? Тебя дразнили Геростратом за то, что ты казенную книжку папироской прожег, а меня Эфиальтом за то, что я ябедничать любил. Хо-хо... Детьми были! Не бойся, Нафаня! Подойди к нему поближе... А это моя жена, урожденная Ванценбах... лютеранка.

Нафанаил немного подумал и спрятался за спину отца.

– Ну, как живешь, друг? – спросил толстый, восторженно глядя на друга. – Служишь где? Дослужился?

– Служу, милый мой! Коллежским ассессором уже второй год и Станислава³ имею. Жалованье плохое... ну да бог с ним! Жена уроки музыки дает, я портсигары приватно из дерева делаю. Отличные портсигары! По рублю за штуку продаю. Если кто берет десять штук и более, тому, понимаешь, уступка. Пробавляемся кое-как. Служил, знаешь, в департаменте, а теперь сюда переведен столоначальником по тому же ведомству... Здесь буду служить. Ну а ты как? Небось уже статский? А?

– Нет, милый мой, поднимай повыше, – сказал толстый. – Я уже до тайного дослужился... Две звезды имею.

³ Станислав – орден Святого Станислава.



Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой; казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился, сгорбился, сузился... Его чемоданы, узлы и картонки съежались, поморщились... Длинный подбородок жены стал еще длиннее; Нафанаил вытянулся во фрунт и застегнул все пу-

говки своего мундира...

– Я, ваше превосходительство... Очень приятно-с! Друг, можно сказать, детства и вдруг вышли в такие вельможи-с! Хи-хи-с.

– Ну полно! – поморщился толстый. – Для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства – и к чему тут это чинопочитание!

– Помилуйте... Что вы-с... – захихикал тонкий, еще более съеживаясь. – Милостивое внимание вашего превосходительства... вроде как бы живительной влаги... Это вот, ваше превосходительство, сын мой Нафанаил... жена Луиза, лютеранка, некоторым образом...



Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у тонкого было написано столько благоговения, сладости и почти-тельной кислоты, что тайного советника стошнило. Он от-вернулся от тонкого и подал ему на прощанье руку.

Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец: «Хи-хи-хи!» Жена улыбнулась. На-фанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно ошеломлены.

Смерть чиновника

В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор⁴, Иван Дмитрий Червяков, сидел во втором ряду кресел и глядел в бинокль на «Корневильские колокола». Он глядел и чувствовал себя наверху блаженства. Но вдруг... В рассказах часто встречается это «но вдруг». Авторы правы: жизнь так полна внезапностей! Но вдруг лицо его поморщилось, глаза подкатились, дыхание остановилось... Он отвел от глаз бинокль, нагнулся и... апчхи!!! Чихнул, как видите. Чихать никому и нигде не возбраняется. Чихают и мужики, и полицеймейстеры, и иногда даже и тайные советники. Все чихают. Червяков нисколько не сконфузился, утерся платочком и, как вежливый человек, поглядел вокруг себя: не обеспокоил ли он кого-нибудь своим чиханьем? Но тут уж пришлось сконфузиться. Он увидел, что старичок, сидевший впереди него, в первом ряду кресел, старательно вытирал свою лысину и шею перчаткой и бормотал что-то. В старичке Червяков узнал статского генерала Бризжалова, служащего по ведомству путей сообщения.

«Я его обрызгал! – подумал Червяков. – Не мой начальник, чужой, но все-таки неловко. Извиниться надо».

Червяков кашлянул, подался туловищем вперед и зашептал генералу на ухо:

⁴ Экзекутор – чиновник в учреждении, ведавший хозяйственной частью.

– Извините, вашество, я вас обрызгал... я нечаянно...

– Ничего, ничего...

– Ради Бога, извините. Я ведь... я не желал!

– Ах, сидите, пожалуйста! Дайте слушать!

Червяков сконфузился, глупо улыбнулся и начал глядеть на сцену. Глядел он, но уж блаженства больше не чувствовал. Его начало мучивать беспокойство. В антракте он подошел к Бризжалову, походил возле него и, поборовши робость, пробормотал:

– Я вас обрызгал, вашество... Простите... Я ведь... не то чтобы...

– Ах, полноте... Я уж забыл, а вы всё о том же! – сказал генерал и нетерпеливо шевельнул нижней губой.

«Забыл, а у самого ехидство в глазах, – подумал Червяков, подозрительно поглядывая на генерала. – И говорить не хочет. Надо бы ему объяснить, что я вовсе не желал... что это закон природы, а то подумает, что я плюнуть хотел. Теперь не подумает, так после подумает!..»

Придя домой, Червяков рассказал жене о своем невежестве. Жена, как показалось ему, слишком легкомысленно отнеслась к происшедшему; она только испугалась, а потом, когда узнала, что Бризжалов «чужой», успокоилась.

– А все-таки ты сходи, извинись, – сказала она. – Подумает, что ты себя в публике держать не умеешь!

– То-то вот и есть! Я извинялся, да он как-то странно... Ни одного слова путного не сказал. Да и некогда было раз-

говаривать.

На другой день Червяков надел новый вицмундир, подстригся и пошел к Бризжалову объяснить... Войдя в приемную генерала, он увидел там много просителей, а между просителями и самого генерала, который уже начал прием прошений. Опросив несколько просителей, генерал поднял глаза и на Червякова.

– Вчера в «Аркадии», ежели припомните, вашество, – начал докладывать экзекутор, – я чихнул-с и... нечаянно обрызгал... Изв...

– Какие пустяки... Бог знает что! Вам что угодно? – обратился генерал к следующему просителю.

«Говорить не хочет! – подумал Червяков, бледнея. – Сердится, значит... Нет, этого нельзя так оставить... Я ему объясню...»

Когда генерал кончил беседу с последним просителем и направился во внутренние апартаменты, Червяков шагнул за ним и забормотал:

– Вашество! Ежели я осмеливаюсь беспокоить вашество, то именно из чувства, могу сказать, раскаяния!.. Не нарочно, сами изволите знать-с!

Генерал соорил плаксивое лицо и махнул рукой.

– Да вы просто смеетесь, милостисдарь! – сказал он, скрываясь за дверь.

«Какие же тут насмешки? – подумал Червяков. – Вовсе тут нет никаких насмешек! Генерал, а не может понять! Ко-

гда так, не стану же я больше извиняться перед этим фанфароном! Черт с ним! Напишу ему письмо, а ходить не стану! Ей-богу, не стану!»

Так думал Червяков, идя домой. Письма генералу он не написал. Думал, думал и никак не выдумал этого письма. Пришлось на другой день идти самому объяснять.

– Я вчера приходил беспокоить вашество, – забормотал он, когда генерал поднял на него вопрошающие глаза, – не для того, чтобы смеяться, как вы изволили сказать. Я извинялся за то, что, чихая, брызнул-с... а смеяться я и не думал. Смею ли я смеяться? Ежели мы будем смеяться, так никакого тогда, значит, и уважения к персонам... не будет...

– Пошел вон!! – гаркнул вдруг посиневший и затрясшийся генерал.

– Что-с? – спросил шепотом Червяков, млея от ужаса.

– Пошел вон!! – повторил генерал, затопав ногами.

В животе у Червякова что-то оторвалось. Ничего не видя, ничего не слыша, он попятился к двери, вышел на улицу и поплелся... Придя машинально домой, не снимая вицмундира, он лег на диван и... помер.

Хамелеон

Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов в новой шинели и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городской с решетом, доверху наполненным конфискованным крыжовником. Кругом тишина... На площади ни души... Открытые двери лавок и кабаков глядят на свет Божий уныло, как голодные пасти; около них нет даже нищих.

– Так ты кусаться, окаянная? – слышит вдруг Очумелов. – Ребята, не пушай ее! Нынче не велено кусаться! Держи! А-а-а!

Слышен собачий визг. Очумелов глядит в сторону и видит: из дровяного склада купца Пичугина, прыгая на трех ногах и оглядываясь, бежит собака. За ней гонится человек в ситцевой крахмальной рубаше и расстегнутой жилетке. Он бежит за ней и, подавшись туловищем вперед, падает на землю и хватает собаку на задние лапы. Слышен вторично собачий визг и крик: «Не пушай!» Из лавок высовываются сонные физиономии, и скоро около дровяного склада, словно из земли выросши, собирается толпа.

– Никак, беспорядок, ваше благородие!.. – говорит городской.

Очумелов делает полуоборот налево и шагает к сборищу. Около самых ворот склада, видит он, стоит вышеписанный человек в расстегнутой жилетке и, подняв вверх правую руку,

показывает толпе окровавленный палец. На полупьяном лице его как бы написано: «Ужо я сорву с тебя, шельма!»— да и самый палец имеет вид знамения победы. В этом человеке Очумелов узнает золотых дел мастера Хрюкина. В центре толпы, растопыбив передние ноги и дрожа всем телом, сидит на земле сам виновник скандала — белый борзой щенок с острой мордой и желтым пятном на спине. В слезящихся глазах его выражение тоски и ужаса.

— По какому это случаю тут? — спрашивает Очумелов, врессываясь в толпу. — Почему тут? Это ты зачем палец?.. Кто кричал?

— Иду я, ваше благородие, никого не трогаю... — начинает Хрюкин, кашляя в кулак. — Насчет дров с Митрий Митричем, — и вдруг эта подлая ни с того ни с сего за палец... Вы меня извините, я человек, который работающий... Работа у меня мелкая. Пущай мне заплатят, потому — я этим пальцем, может, неделю не пошевелину... Этого, ваше благородие, и в законе нет, чтоб от твари терпеть... Ежели каждый будет кусаться, то лучше и не жить на свете...

— Гм!.. Хорошо... — говорит Очумелов строго, кашляя и шевеля бровями. — Хорошо... Чья собака? Я этого так не оставляю. Я покажу вам, как собак распускать! Пора обратить внимание на подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям! Как оштрафуют его, мерзавца, так он узнает у меня, что значит собака и прочий бродячий скот! Я ему покажу кузькину мать!.. Елдырин, — обращается надзиратель

к городовому, – узнай, чья это собака, и составляй протокол!



А собаку истребить надо. Немедля! Она, наверное, бешеная... Чья это собака, спрашиваю?

– Это, кажись, генерала Жигалова! – говорит кто-то из толпы.

– Генерала Жигалова? Гм!.. Сними-ка, Елдырин, с меня пальто... Ужас как жарко! Должно полагать, перед дождем... Одного только я не понимаю: как она могла тебя укусить? – обращается Очумелов к Хрюкину. – Нешто она достанет до пальца? Она маленькая, а ты ведь вон какой здоровила! Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, а потом и пришла в твою голову идея, чтоб сорвать. Ты ведь... известный народ! Знаю вас, чертей!

– Он, ваше благородие, сигаркой ей в харю для смеха, а она – не будь дура – и тяпни... Вздорный человек, ваше благородие!

– Врешь, кривой! Не видал, так, стало быть, зачем врать? Их благородие умный господин и понимают, ежели кто врет, а кто по совести, как перед Богом... А ежели я вру, так пускай мировой рассудит. У него в законе сказано... Нынче все равны... У меня у самого брат в жандарах... ежели хотите знать...



– Не рассуждать!

– Нет, это не генеральская... – глубокомысленно замечает городской. – У генерала таких нет. У него всё больше легавые...

– Ты это верно знаешь?

– Верно, ваше благородие...

– Я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые, а эта – черт знает что! Ни шерсти, ни вида... подлость одна только... И такую собаку держать?! Где же у вас ум? Попадись такая собака в Петербурге или Москве, то знаете, что было бы? Там не посмотрели бы в закон, а моментально –

не дыши! Ты, Хрюкин, пострадал и дела этого так не остав-
ляй... Нужно проучить! Пора...

– А может быть, и генеральская... – думает вслух городо-
вой. – На морде у ней не написано... Намедни во дворе у
него такую видел.

– Вестимо, генеральская! – говорит голос из толпы.

– Гм!.. Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто... Что-
то ветром подуло... Знобит... Ты отведешь ее к генералу и
спросишь там. Скажешь, что я нашел и прислал... И скажи,
чтобы ее не выпускали на улицу... Она, может быть, дорогая,
а ежели каждый свинья будет ей в нос сигаркой тыкать, то
долго ли испортить. Собака – нежная тварь... А ты, болван,
опусти руку! Нечего свой дурацкий палец выставлять! Сам
виноват!..

– Повар генеральский идет, его спросим... Эй, Прохор!
Поди-ка, милый, сюда! Погляди на собаку... Ваша?

– Выдумал! Этаких у нас отродясь не бывало!

– И спрашивать тут долго нечего, – говорит Очумелов. –
Она бродячая! Нечего тут долго разговаривать... Ежели ска-
зал, что бродячая, стало быть, и бродячая... Истребить, вот
и все.

– Это не наша, – продолжает Прохор. – Это генералова
брата, что намеднись приехал. Наш не охотник до борзых.
Брат ихний охоч...

– Да разве братец ихний приехали? Владимир Иваныч? –
спрашивает Очумелов, и все лицо его заливается улыбкой

умиления. – Ишь ты, Господи! А я и не знал! Погостить приехали?

– В гости...

– Ишь ты, Господи... Соскучились по братце... А я ведь и не знал! Так это ихняя собачка? Очень рад... Возьми ее... Собачонка ничего себе... Шустрая такая... Цап этого за палец! Ха-ха-ха... Ну, чего дрожишь? Ррр... Рр... Сердится, шельма... цуцик этакий...

Прохор зовет собаку и идет с ней от дровяного склада... Толпа хохочет над Хрюкиным.

– Я еще доберусь до тебя! – грозит ему Очумелов и, запахиваясь в шинель, продолжает свой путь по базарной площади.

Унтер Пришибеев

– Унтер-офицер Пришибеев! Вы обвиняетесь в том, что третьего сего сентября оскорбили словами и действием урядника Жигина, волостного старшину Аляпова, сотского Ефимова, понятых Иванова и Гаврилова и еще шестерых крестьян, причем первым трем было нанесено вами оскорбление при исполнении ими служебных обязанностей. Признаете вы себя виновным?

Пришибеев, сморщенный унтер с колючим лицом, делает руки по швам и отвечает хриплым, придушенным голосом, отчеканивая каждое слово, точно командуя:

– Ваше высокородие, господин мировой судья! Стало быть, по всем статьям закона выходит причина аттестовать всякое обстоятельство во взаимности. Виновен не я, а все прочие. Все это дело вышло из-за, царствие ему небесное, мертвого трупа. Иду это я третьего числа с женой Анфисой тихо, благородно, смотрю: стоит на берегу куча разного народа людей. По какому полному праву тут народ собрался? – спрашиваю. Зачем? Нешто в законе сказано, чтоб народ табуном ходил? Кричу: разойдись! Стал расталкивать народ, чтоб расходились по домам, приказал сотскому гнать взащей...

– Позвольте, вы ведь не урядник, не староста, – разве это ваше дело – народ разгонять?



– Не его! Не его! – слышатся голоса из разных углов камеры. – Житья от него нету, вашескородие! Пятнадцать лет от него терпим! Как пришел со службы, так с той поры хоть из села беги. Замучил всех!

– Именно так, вашескородие! – говорит свидетель-староста. – Всем миром жалимся. Жить с ним никак невозможно! С образами ли ходим, свадьба ли, или, положим, случай какой, везде он кричит, шумит, всё порядки вводит. Ребятам уши дерет, за бабами подглядывает, чтоб чего не вышло, словно свекор какой... Намеднись по избам ходил, приказывал, чтоб песней не пели и чтоб огней не жгли. Закона, говорит, такого нет, чтоб песни петь.

– Погодите, вы еще успеете дать показание, – говорит мировой, – а теперь пусть Пришибеев продолжает. Продолжайте, Пришибеев!

– Слушаю-с! – хрипит унтер. – Вы, ваше высокородие, изволите говорить, не мое это дело – народ разгонять... Хорошо-с... А ежели беспорядки? Нешто можно позволять, чтобы народ безобразил? Где это в законе написано, чтоб народу волю давать? Я не могу позволять-с. Ежели я не стану их разгонять да взыскивать, то кто же станет? Никто порядков настоящих не знает, во всем селе только я один, можно сказать, ваше высокородие, знаю, как обходиться с людьми простого звания, и, ваше высокородие, я могу все понимать. Я не

мужик, я унтер-офицер, отставной каптенармус⁵, в Варшаве служил, в штабе-с, а после того, изволите знать, как вчистую вышел, был в пожарных-с, а после того по слабости болезни ушел из пожарных и два года в мужской классической прогимназии в швейцарах служил... Все порядки знаю-с. А мужик – простой человек, он ничего не понимает и должен меня слушать, потому – для его же пользы. Взять хоть это дело, к примеру... Разгоняю я народ, а на берегу, на песочке, утопый труп мертвого человека. По какому такому основанию, спрашиваю, он тут лежит? Нешто это порядок? Что урядник глядит? Отчего ты, говорю, урядник, начальству знать не даешь? Может, этот утопый покойник сам утоп, а может, тут дело Сибирью пахнет. Может, тут уголовное смертоубийство... А урядник Жигин никакого внимания, только папироску курит. «Что это, говорит, у вас за указчик такой? Откуда, говорит, он у вас такой взялся? Нешто мы без него, говорит, не знаем нашего поведения?» Стало быть, говорю, ты не знаешь, дурак этакой, коли тут стоишь и без внимания. «Я, говорит, еще вчера дал знать становому приставу». Зачем же, спрашиваю, становому приставу? По какой статье свода законов? Нешто в таких делах, когда утопшие или удавившие и прочее тому подобное, – нешто в таких делах становой может? Тут, говорю, дело уголовное, гражданское... Тут, говорю, скорей посылать эстафет господину следовате-

⁵ Каптенармус – должностное лицо в армии, ведавшее хранением и выдачей снаряжения и продовольствия.

лю и судьям-с. И перво-наперво ты должен, говорю, составить акт и послать господину мировому судье. А он, урядник, все слушает и смеется. И мужики тоже. Все смеялись, ваше высокородие. Под присягой могу показать. И этот смеялся, и вот этот, и Жигин смеялся. Что, говорю, зубья скалите? А урядник и говорит: «Мировому, говорит, судье такие дела неподсудны». От этих самых слов меня даже в жар бросило. Урядник, ведь ты это сказывал? – обращается унтер к уряднику Жигину.

– Сказывал.

– Все слышали, как ты это самое при всем простом народе: «Мировому судье такие дела неподсудны». Все слышали, как ты это самое... Меня, ваше высокородие, в жар бросило, я даже сробел весь. Повтори, говорю, повтори, такой-сякой, что ты сказал! Он опять эти самые слова... Я к нему. Как же, говорю, ты можешь так объяснять про господина мирового судью? Ты, полицейский урядник, да против власти? А? Да ты, говорю, знаешь, что господин мировой судья, ежели пожелают, могут тебя за такие слова в губернское жандармское управление по причине твоего неблагонадежного поведения? Да ты знаешь, говорю, куда за такие политические слова тебя угнать может господин мировой судья? А старшина говорит: «Мировой, говорит, дальше своих пределов ничего обозначить не может. Только малые дела ему подсудны». Так и сказал, все слышали... Как же, говорю, ты смеешь власть уничижать? Ну, говорю, со мной не шути шуток,

а то дело, брат, плохо. Бывало, в Варшаве или когда в швейцарах был в мужской классической прогимназии, то как слышу какие неподходящие слова, то гляжу на улицу, не видать ли жандарма. «Поди, говорю, сюда, кавалер», – и все ему докладываю. А тут, в деревне, кому скажешь?.. Взяло меня зло. Обидно стало, что нынешний народ забылся в своеволии и неповиновении, я размахнулся и... конечно, не то чтобы сильно, а так, правильно, полегоньку, чтоб не смел про ваше высокородие такие слова говорить... За старшину урядник вступился. Я, стало быть, и урядника... И пошло... Погорячился, ваше высокородие, ну да ведь без того нельзя, чтоб не побить. Ежели глупого человека не побьешь, то на твоей же душе грех. Особливо ежели за дело... ежели беспорядок...

– Позвольте! За непорядками есть кому глядеть. На это есть урядник, староста, сотский...

– Уряднику за всем не углядеть, да урядник и не понимает того, что я понимаю...

– Но поймите, что это не ваше дело!

– Чего-с? Как же это не мое? Чудно-с... Люди безобразят – и не мое дело! Что ж мне, хвалить их, что ли? Они вот жалятся вам, что я песни петь запрещаю... Да что хорошего в песнях-то? Вместо того чтоб делом каким заниматься, они песни... А еще тоже моду взяли вечера с огнем сидеть. Нужно спать ложиться, а у них разговоры да смехи. У меня записано-с!

– Что у вас записано?

– Кто с огнем сидит.

Пришибеев вынимает из кармана засаленную бумажку, надевает очки и читает:

– Которые крестьяне сидят с огнем: Иван Прохоров, Савва Микифоров, Петр Петров. Солдатка Шустрова, вдова, живет в развратном беззаконии с Семеном Кисловым. Игнат Сверчок занимается волшебством, и жена его Мавра есть ведьма, по ночам ходит доить чужих коров.

– Довольно! – говорит судья и начинает допрашивать свидетелей.

Унтер Пришибеев поднимает очки на лоб и с удивлением глядит на мирового, который, очевидно, не на его стороне. Его выпученные глаза блестят, нос становится ярко-красным. Глядит он на мирового, на свидетелей и никак не может понять, отчего это мировой так взволнован и отчего из всех углов камеры слышится то ропот, то сдержанный смех. Непонятен ему и приговор: на месяц под арест!

– За что?! – говорит он, разводя в недоумении руками. – По какому закону?

И для него ясно, что мир изменился и что жить на свете уже никак невозможно. Мрачные, унылые мысли овладевают им. Но, выйдя из камеры и увидев мужиков, которые толпятся и говорят о чем-то, он по привычке, с которой уже совладать не может, вытягивает руки по швам и кричит хриплым, сердитым голосом:

– Нар-род, расходи-сь! Не толпи-сь! По домам!

Восклицательный знак (Святочный рассказ)

В ночь под Рождество Ефим Фомич Перекладин, коллежский секретарь, лег спать обиженный и даже оскорбленный.

– Отвяжись ты, нечистая сила! – рявкнул он со злобой на жену, когда та спросила, отчего он такой хмурый.

Дело в том, что он только что вернулся из гостей, где сказано было много неприятных и обидных для него вещей. Сначала заговорили о пользе образования вообще, потом же незаметно перешли к образовательному цензу служащей братии, причем было высказано много сожалений, упреков и даже насмешек по поводу низкого уровня. И тут, как это водится во всех российских компаниях, с общих материй перешли к личностям.

– Взять, например, хоть вас, Ефим Фомич, – обратился к Перекладину один юноша. – Вы занимаете приличное место... а какое образование вы получили?

– Никакого-с. Да у нас образование и не требуется, – кротко ответил Перекладин. – Пиши правильно, вот и все...

– Где же это вы правильно писать-то научились?

– Привык-с... За сорок лет службы можно руку набить-с... Оно конечно, спервоначалу трудно было, делывал ошибки, но потом привык-с... и ничего...

– А знаки препинания?

– И знаки препинания ничего... Правильно ставлю.

– Гм!.. – сконфузился юноша. – Но привычка совсем не то, что образование. Мало того, что вы знаки препинания правильно ставите... мало-с! Нужно сознательно ставить! Вы ставите запятую и должны сознавать, для чего ее ставите... да-с! А это ваше бессознательное... рефлекторное правописание и гроша не стоит. Это машинное производство, и больше ничего.

Переკладин смолчал и даже кротко улыбнулся (юноша был сын статского советника и сам имел право на чин X класса), но теперь, ложась спать, он весь обратился в негодование и злобу.

«Сорок лет служил, – думал он, – и никто меня дураком не назвал, а тут, поди ты, какие критики нашлись! „Бессознательно!.. Лефректорно! Машинное производство...“ Ах ты, черт тебя возьми! Да я еще, может быть, больше тебя понимаю, даром что в твоих университетах не был!»

Излив мысленно по адресу критика все известные ему ругательства и согревшись под одеялом, Переკладин стал успокаиваться.

«Я знаю... понимаю... – думал он, засыпая. – Не поставлю там двоеточия, где запятую нужно, стало быть, сознаю, понимаю. Да... Так-то, молодой человек... Сначала пожить нужно, послужить, а потом уж стариков судить...»

В закрытых глазах засыпавшего Перекладина сквозь толпу темных улыбающихся облаков метеором пролетела огнен-

ная запятая. За ней другая, третья, и скоро весь безграничный темный фон, расстилавшийся перед его воображением, покрылся густыми толпами летавших запятых...

«Хоть эти запятые взять... – думал Перекладин, чувствуя, как его члены сладко немеют от наступавшего сна. – Я их отлично понимаю... Для каждой могу место найти, ежели хочешь... и... и сознательно, а не зря... Экзаменуй – и увидишь... Запятые ставятся в разных местах, где надо, где и не надо. Чем путаннее бумага выходит, тем больше запятых нужно. Ставятся они перед „который“ и перед „что“. Ежели в бумаге перечислять чиновников, то каждого из них надо запятой отделять... Знаю!»

Золотые запятые завертелись и унеслись в сторону. На их место прилетели огненные точки...

«А точка в конце бумаги ставится... Где нужно большую передышку сделать и на слушателя взглянуть, там тоже точка. После всех длинных мест нужно точку, чтоб секретарь, когда будет читать, слюной не истек. Больше же нигде точка не ставится...»

Опять налетают запятые... Они мешаются с точками, кружатся – и Перекладин видит целое сонмище точек с запятой и двоеточий...

«И этих знаю... – думает он. – Где запятой мало, а точки много, там надо точку с запятой. Перед „но“ и „следственно“ всегда ставлю точку с запятой... Ну-с, а двоеточие? Двоеточие ставится после слов „постановили“, „решили“...»

Точки с запятой и двоеточия потухли. Наступила очередь вопросительных знаков. Эти выскочили из облаков и заканчивали⁶...

«Эка невидаль: знак вопросительный! Да хоть тысяча их, всем место найду. Ставятся они всегда, когда запрос нужно делать или, положим, о бумаге справиться... „Куда отнесен остаток сумм за такой-то год?“ или „Не найдет ли Полицейское управление возможным оную Иванову и проч.?“...»

Вопросительные знаки одобрительно закивали своими крючками и моментально, словно по команде, вытянулись в знаки восклицательные...

«Гм!.. Этот знак препинания в письмах часто ставится. „Милостивый государь мой!“ или „Ваше превосходительство, отец и благодетель!..“ А в бумагах когда?»

Восклицательные знаки еще больше вытянулись и остановились в ожидании...

«В бумагах они ставятся, когда... тово... этого... как его? Гм!.. В самом деле, когда же их в бумагах ставят? Постой... дай Бог память... Гм!..»

Перекладин открыл глаза и повернулся на другой бок. Но не успел он вновь закрыть глаза, как на темном фоне опять появились восклицательные знаки.

«Черт их возьми... Когда же их ставить нужно? – подумал он, стараясь выгнать из своего воображения непрошенных гостей. – Неужели забыл? Или забыл, или же... никогда их не

⁶ Канкан – французский танец с характерным вскидыванием ног.

ставил...»

Перекладин стал припоминать содержание всех бумаг, которые он написал за сорок лет своего служения; но как он ни думал, как ни морщил лоб, в своем прошлом он не нашел ни одного восклицательного знака.

«Что за оказия! Сорок лет писал и ни разу восклицательного знака не поставил... Гм!.. Но когда же он, черт длинный, ставится?»

Из-за ряда огненных восклицательных знаков показалась ехидно смеющаяся рожа юноши-критика. Сами знаки улыбнулись и слились в один большой восклицательный знак.

Перекладин встряхнул головой и открыл глаза.

«Черт знает что... – подумал он. – Завтра к утрени вставать надо, а у меня это чертобесие из головы не выходит... Тьфу! Но... когда же он ставится? Вот тебе и привычка! Вот тебе и набил руку! За сорок лет ни одного восклицательного! А?»

Перекладин перекрестился и закрыл глаза, но тотчас же открыл их; на темном фоне все еще стоял большой знак...

«Тьфу! Этак всю ночь не уснешь».

– Марфуша! – обратился он к своей жене, которая часто хвасталась тем, что кончила курс в пансионе. – Ты не знаешь ли, душенька, когда в бумагах ставится восклицательный знак?

– Еще бы не знать! Недаром в пансионе семь лет училась. Наизусть всю грамматику помню. Этот знак ставится при об-

ращениях, восклицаниях и при выражениях восторга, негодования, радости, гнева и прочих чувств.

«Тэк-с... — подумал Перекладин. — Восторг, негодование, радость, гнев и прочие чувства...»

Коллежский секретарь задумался... Сорок лет писал он бумаги, написал он их тысячи, десятки тысяч, но не помнит ни одной строки, которая выражала бы восторг, негодование или что-нибудь в этом роде...

«И прочие чувства... — думал он. — Да нешто в бумагах нужны чувства? Их и бесчувственный писать может...»

Рожу юноши-критика опять выглянула из-за огненного знака и ехидно улыбнулась. Перекладин поднялся и сел на кровати. Голова его болела, на лбу выступил холодный пот... В углу ласково теплилась лампадка, мебель глядела празднично, чистенько, от всего так и веяло теплом и присутствием женской руки, но бедному чинуше было холодно, неуютно, точно он заболел тифом. Знак восклицательный стоял уже не в закрытых глазах, а перед ним, в комнате, около женина туалета и насмешливо мигал ему...

— Пишущая машина! Машина! — шептало привидение, дуя на чиновника сухим холодом. — Деревяшка бесчувственная!

Чиновник укрылся одеялом, но и под одеялом он увидел привидение, прильнул лицом к женину плечу — и из-за плеча торчало то же самое... Всю ночь промучился бедный Перекладин, но и днем не оставило его привидение. Он видел его всюду: в надеваемых сапогах, в блюдечке с чаем, в Ста-

ниславе...

«И прочие чувства... – думал он. – Это правда, что никаких чувств не было... Пойду сейчас к начальству расписываться... а разве это с чувствами делается? Так, зря... Поздравительная машина...»

Когда Перекладин вышел на улицу и крикнул извозчика, то ему показалось, что вместо извозчика подкатил восклицательный знак.

Придя в переднюю начальника, он вместо швейцара увидел тот же знак... И все это говорило ему о восторге, негодовании, гнев... Ручка с пером тоже глядела восклицательным знаком. Перекладин взял ее, обмакнул перо в чернила и расписался: «Коллежский секретарь Ефим Перекладин!!!» И, ставя эти три знака, он восторгался, негодовал, радовался, кипел гневом.

– На тебе! На тебе! – бормотал он, надавливая на перо. Огненный знак удовлетворился и исчез.

Лошадиная фамилия

У отставного генерал-майора Булдеева разболелись зубы. Он полоскал рот водкой, коньяком, прикладывал к больному зубу табачную копоть, опий, скипидар, керосин, мазал щеку йодом, в ушах у него была вата, смоченная в спирту, но все это или не помогало, или вызывало тошноту. Приезжал доктор. Он поковырял в зубе, прописал хину, но и это не помогло. На предложение вырвать больной зуб генерал ответил отказом. Все домашние – жена, дети, прислуга, даже поваренок Петька – предлагали каждый свое средство. Между прочим, и приказчик Булдеева Иван Евсеич пришел к нему и посоветовал полечиться заговором.

– Тут, в нашем уезде, ваше превосходительство, – сказал он, – лет десять назад служил акцизный Яков Васильич. Заговаривал зубы – первый сорт. Бывало, отвернется к окошку, пошепчет, поплюет – и как рукой! Сила ему такая дадена...

– Где же он теперь?

– А после того как его из акцизных уволили, в Саратове у тещи живет. Теперь только зубами и кормится. Ежели у которого человека заболит зуб, то и идут к нему, помогает... Тамошних, саратовских, на дому у себя пользует, а ежели которые из других городов, то по телеграфу. Пошлите ему, ваше превосходительство, депешу, что так, мол, вот и так... у раба Божьего Алексия зубы болят, прошу выпользовать. А

деньги за лечение почтой пошлете.

– Ерунда! Шарлатанство!

– А вы попытайте, ваше превосходительство. До водки очень охотник, живет не с женой, а с немкой, ругатель, но, можно сказать, чудодейственный господин!

– Пошли, Алеша! – взмолилась генеральша. – Ты вот не веришь в заговоры, а я на себе испытала. Хотя ты и не веришь, но отчего не послать? Руки ведь не отвалятся от этого.

– Ну ладно, – согласился Булдеев. – Тут не только что к акцизному, но и к черту депешу пошлешь... Ох! Мочи нет! Ну, где твой акцизный живет? Как к нему писать?

Генерал сел за стол и взял перо в руки.

– Его в Саратове каждая собака знает, – сказал приказчик. – Извольте писать, ваше превосходительство, в город Саратов, стало быть... Его благородию господину Якову Васильичу... Васильичу...

– Ну?

– Васильичу... Якову Васильичу... а по фамилии... А фамилию вот и забыл!.. Васильичу... Черт... Как же его фамилия? Давеча, как сюда шел, помнил... Позвольте-с...

Иван Евсеич поднял глаза к потолку и зашевелил губами. Булдеев и генеральша ожидали нетерпеливо.

– Ну, что же? Скорей думай!

– Сейчас... Васильичу... Якову Васильичу... Забыл! Такая еще простая фамилия... словно как бы лошадиная... Кобылин? Нет, не Кобылин. Постойте... Жеребцов нешто? Нет,

и не Жеребцов. Помню, фамилия лошадиная, а какая – из головы вышибло...

– Жеребятников?

– Никак нет. Постойте... Кобылицын... Кобылятник-
в___Кобелев...

– Это уж собачья, а не лошадиная. Жеребчиков?

– Нет, и не Жеребчиков... Лошадинин... Лошаков... Жеребкин... Всё не то!

– Ну, так как же я буду ему писать? Ты подумай!

– Сейчас. Лошадкин... Кобылкин... Коренной...

– Коренников? – спросила генеральша.

– Никак нет. Пристяжкин... Нет, не то! Забыл!

– Так зачем же, черт тебя возьми, с советами лезешь, ежели забыл? – рассердился генерал. – Ступай отсюда вон!

Иван Евсеич медленно вышел, а генерал схватил себя за щеку и заходил по комнатам.

– Ой, батюшки! – вопил он. – Ой, матушки! Ох, света белого не вижу!

Приказчик вышел в сад и, подняв к небу глаза, стал припоминать фамилию акцизного:

– Жеребчиков... Жеребковский... Жеребенко... Нет, не то! Лошадинский... Лошадевич... Жеребкович... Кобылянский...

Немного погодя его позвали к господам.

– Вспомнил? – спросил генерал.

– Никак нет, ваше превосходительство.

– Может быть, Конявский? Лошадников? Нет?

И в доме, все наперерыв, стали изобретать фамилии. Перебрали все возрасты, полы и породы лошадей, вспомнили гриву, копыта, сбрую... В доме, в саду, в людской и кухне люди ходили из угла в угол и, почесывая лбы, искали фамилию...

Приказчика то и дело требовали в дом.

– Табунов? – спрашивали у него. – Копытин? Жеребовский?

– Никак нет, – отвечал Иван Евсеич и, подняв вверх глаза, продолжал думать вслух: – Коненко... Конченко... Жеребев... Кобылеев...

– Папа! – кричали из детской. – Тройкин! Уздечкин!



Взбудоражилась вся усадьба. Нетерпеливый, замученный генерал пообещал дать пять рублей тому, кто вспомнит настоящую фамилию, и за Иваном Евсеичем стали ходить целыми толпами...

– Гнедов! – говорили ему. – Рысистый! Лошадицкий!

Но наступил вечер, а фамилия всё еще не была найдена. Так и спать легли, не послав телеграммы.

Генерал не спал всю ночь, ходил из угла в угол и стонал... В третьем часу утра он вышел из дому и постучался в окно к приказчику.

– Не Меринов ли? – спросил он плачущим голосом.

– Нет, не Меринов, ваше превосходительство, – ответил Иван Евсеич и виновато вздохнул.

– Да может быть, фамилия не лошадиная, а какая-нибудь другая!

– Истинно слово, ваше превосходительство, лошадиная... Это очень даже отлично помню.

– Экий ты какой, братец, беспамятный... Для меня теперь эта фамилия дороже, кажется, всего на свете. Замучился!

Утром генерал опять послал за доктором.

– Пускай рвет! – решил он. – Нет больше сил терпеть...

Приехал доктор и вырвал больной зуб. Боль утихла тотчас же, и генерал успокоился. Сделав свое дело и получив, что следует, за труд, доктор сел в свою бричку и поехал домой. За воротами в поле он встретил Ивана Евсеича... При-

казчик стоял на краю дороги и, глядя сосредоточенно себе под ноги, о чем-то думал. Судя по морщинам, бороздившим его лоб, и по выражению глаз, думы его были напряженны, мучительны...

– Буланов... Чересседельников... – бормотал он. – Засу-
понин... Лошадский...

– Иван Евсеич! – обратился к нему доктор. – Не могу ли я, голубчик, купить у вас четвертей пять овса? Мне продают наши мужички овес, да уж больно плохой...

Иван Евсеич тупо поглядел на доктора, как-то дико улыбнулся и, не сказав в ответ ни одного слова, всплеснув руками, побежал к усадьбе с такой быстротой, точно за ним гналась бешеная собака.

– Надумал, ваше превосходительство! – закричал он радостно, не своим голосом, влетая в кабинет к генералу. – Надумал, дай Бог здоровья доктору! Овсов! Овсов фамилия акцизного! Овсов, ваше превосходительство! Посылайте депешу Овсову!

– На-кося! – сказал генерал с презрением и поднес к лицу его два кукиша. – Не нужно мне теперь твоей лошадиной фамилии! На-кося!

Хирургия

Земская больница. За отсутствием доктора, уехавшего жениться, больных принимает фельдшер Курятин, толстый человек лет сорока, в поношенной чечунчовой жакетке и в истрепанных триковых брюках. На лице выражение чувства долга и приятности. Между указательным и средним пальцами левой руки – сигара, распространяющая зловоние.

В приемную входит дьячок Вонмигласов, высокий коренастый старик в коричневой рясе и с широким кожаным поясом. Правый глаз с бельмом и полузакрыт, на носу бородавка, похожая издали на большую муху. Секунду дьячок ищет глазами икону и, не найдя таковой, крестится на бутылку с карболовым раствором, потом вынимает из красного платочка просфору и с поклоном кладет ее перед фельдшером.

– А-а-а... мое вам! – зевает фельдшер. – С чем пожаловали?

– С воскресным днем вас, Сергей Кузьмич... К вашей милости... Истинно и правдиво в Псалтыри сказано, извините: «Питие мое с плачем растворях».

Сел намедни со старухой чай пить и – ни Боже мой, ни капельки, ни синь-порох, хоть ложись да помирай... Хлебнешь чуточку – и силы моей нету! А кроме того, что в самом зубе, но и всю эту сторону... Так и ломит, так и ломит! В ухо отдает, извините, словно в нем гвоздик или другой какой

предмет, так и стреляет, так и стреляет! Согрешихом и беззаконновахом... Студными бо окалях душу грехми и в лениности житие мое иждих... За грехи, Сергей Кузьмич, за грехи! Отец иерей⁷ после литургии упрекает: «Косноязычен ты, Ефим, и гугнив стал. Поёшь, и ничего у тебя не разберешь». А какое, судите, тут пение, ежели рта раскрыть нельзя, все распухши, извините, и ночь не спавши...

– М-да... Садитесь... Раскройте рот!

Вонмигласов садится и раскрывает рот.

Курятин хмурится, глядит в рот и среди пожелтевших от времени и табаку зубов усматривает один зуб, украшенный зияющим дуплом.

– Отец диакон велели водку с хреном прикладывать – не помогло. Гликерия Анисимовна, дай Бог им здоровья, дали на руку ниточку носить с Афонской горы да велели теплым молоком зуб полоскать, а я, признаться, ниточку-то надел, а в отношении молока не соблюл: Бога боюсь, пост...

– Предрассудок... (Пауза.) Вырвать его нужно, Ефим Михеич!

– Вам лучше знать, Сергей Кузьмич. На то вы и обучены, чтоб это дело понимать, как оно есть, что вырвать, а что каплями или прочим чем... На то вы, благодетели, и поставлены, дай Бог вам здоровья, чтоб мы за вас денно и нощно, отцы родные... по гроб жизни...

– Пустяки... – скромничает фельдшер, подходя к шка-

⁷ Иерей – священник.

пу и роясь в инструментах. – Хирургия – пустяки... Тут во всем привычка, твердость руки... Раз плюнуть... Намедни тоже, вот как и вы, приезжает в больницу помещик Александр Иваныч Египетский... Тоже с зубом... Человек образованный, обо всем расспрашивает, во все входит, как и что. Руку пожимает, по имени и отчеству... В Петербурге семь лет жил, всех профессоров перенюхал... Долго мы с ним тут... Христом Богом молит: вырвите вы мне его, Сергей Кузьмич! Отчего же не вырвать? Вырвать можно. Только тут понимать надо, без понятия нельзя... Зубы разные бывают. Один рвешь щипцами, другой козьей ножкой, третий ключом... Кому как.

Фельдшер берет козью ножку, минуту смотрит на нее вопросительно, потом кладет и берет щипцы.

– Ну-с, раскройте рот пошире... – говорит он, подходя с щипцами к дьячку. – Сейчас мы его... тово... Раз плюнуть... Десну подрезать только... тракцию сделать по вертикальной оси... и всё (подрезывает десну)... и всё...

– Благодетели вы наши... Нам, дуракам, и невдомек, а вас Господь просветил...

– Не рассуждайте, ежели у вас рот раскрыт... Этот легко рвать, а бывает так, что одни только корешки... Этот – раз плюнуть... (Накладывает щипцы.) Пойдите, не дергайтесь... Сидите неподвижно... В мгновение ока... (Делает тракцию.) Главное, чтоб поглубже взять (тянет)... чтоб коронка не сломалась...

– Отцы наши... Мать Пресвятая... Ввв...

– Не того... не того... как его? Не хватайте руками! Пустите руки! (Тянет.) Сейчас... Вот, вот... Дело-то ведь нелегкое...

– Отцы... радетели... (Кричит.) Ангелы! Ого-го... Да дергай же, дергай! Чего пять лет тянешь?

– Дело-то ведь... хирургия... Сразу нельзя... Вот, вот...

Вонмигласов поднимает колени до локтей, шевелит пальцами, выпучивает глаза, прерывисто дышит... На багровом лице его выступает пот, на глазах слезы. Курятин сопит, топчется перед дьячком и тянет... Проходят мучительнейшие пол минуты – и щипцы срываются с зуба. Дьячок вскакивает и лезет пальцами в рот. Во рту нащупывает он зуб на старом месте.

– Тянул! – говорит он плачущим и в то же время насмешливым голосом. – Чтоб тебя так на том свете потянуло! Благодарим покорно! Коли не умеешь рвать, так не берись! Света Божьего не вижу...

– А ты зачем руками хватаешь? – сердится фельдшер. – Я тяну, а ты мне под руку толкаешь и разные глупые слова... Дура!

– Сам ты дура!

– Ты думаешь, мужик, легко зуб-то рвать? Возьмись-ка! Это не то что на колокольную полез да в колокола отбарабанил! (Дразнит.) «Не умеешь, не умеешь!» Скажи, какой указчик нашелся! Ишь ты... Господину Египетскому, Алек-

сандру Иванычу, рвал, да и тот ничего, никаких слов... Человек почище тебя, а не хватал руками... Садись! Садись, тебе говорю!

– Света не вижу... Дай дух перевести... Ох! (Садится.) Не тяни только долго, а дергай. Ты не тяни, а дергай... Сразу!

– Учи ученого! Экий, Господи, народ необразованный! Живи вот с такими... очумеешь! Раскрой рот... (Накладывает щипцы.) Хирургия, брат, не шутка... Это не на клиросе читать... (Делает тракцию.) Не дергайся... Зуб, выходит, застарелый, глубоко корни пустил... (Тянет.) Не шевелись... Так... так... Не шевелись... Ну, ну... (Слышен хрустящий звук.) Так и знал!

Вонмигласов сидит минуту неподвижно, словно без чувств. Он ошеломлен... Глаза его тупо глядят в пространство, на бледном лице пот.

– Было б мне козьей ножкой... – бормочет фельдшер. – Этакая оказия!

Придя в себя, дьячок сует в рот пальцы и на месте больного зуба находит два торчащих выступа.



– Пар-ршивый черт... – выговаривает он. – Насажали вас здесь, иродов, на нашу погибель!

– Поругайся мне еще тут... – бормочет фельдшер, кладя в шкаф щипцы. – Невежи... Мало тебя в бурсе березой потчевали... Господин Египетский, Александр Иванович, в Петербурге лет семь жил... образованность... один костюм рублей сто стоит... да и то не ругался... А ты что за пава такая? Ништо тебе, не околеешь!

Дьячок берет со стола свою просфору и, придерживая щеку рукой, уходит восвояси...

Дорогая собака

Поручик Дубов, уже немолодой армейский служака, и вольноопределяющийся Кнапс сидели и выпивали.

– Великолепный пес! – говорил Дубов, показывая Кнапсу свою собаку Милку. – Заме-ча-тельная собака! Вы обратите внимание на морду! Морда одна чего стоит! Ежели на любителя наскочить, так за одну морду двести рублей дадут! Не верите? В таком случае вы ничего не понимаете...

– Я понимаю, но...

– Ведь сеттер, чистокровный английский сеттер! Стойка поразительная, а чутье... нюх! Боже, какой нюх! Знаете, сколько я дал за Милку, когда она была еще щенком? Сто рублей! Дивная собака! Ше-ельма, Милка! Ду-ура, Милка! Поди сюда, поди сюда... собачечка, песик мой...

Дубов привлек к себе Милку и поцеловал ее между ушей. На глазах у него выступили слезы.

– Никому тебя не отдам... красавица моя... разбойник этакий. Ведь ты любишь меня, Милка? Любишь?.. Ну, пошла вон! – крикнул вдруг поручик. – Грязными лапами прямо на мундир лезешь! Да, Кнапс, полтора ста рублей дал – за щенка! Стало быть, было за что! Одно только жаль: охотиться мне некогда! Гибнет без дела собака, талант свой зарывает... Потому-то и продаю. Купите, Кнапс! Всю жизнь будете благодарны! Ну, если у вас денег мало, то извольте, я уступлю

вам половину... Берите за пятьдесят! Грабьте!

– Нет, голубчик... – вздохнул Кнапс. – Будь ваша Милка мужского пола, то, может быть, я и купил бы, а то...

– Милка не мужского пола? – изумился поручик. – Кнапс, что с вами? Милка не мужского... пола?! Ха-ха! Так что же она, по-вашему? Сука? Ха-ха... Хорош мальчик! Он еще не умеет отличить кобеля от суки!

– Вы мне говорите, словно я слеп или ребенок... – обиделся Кнапс. – Конечно, сука!

– Пожалуй, вы еще скажете, что я – дама! Ах, Кнапс, Кнапс! А еще тоже в техническом кончили! Нет, душа моя, это настоящий чистокровный кобель! Мало того, любому кобелю десять очков вперед даст, а вы... не мужского пола! Ха-ха...

– Простите, Михаил Иванович, но вы... просто за дурака меня считаете... Обидно даже...

– Ну, не нужно, черт с вами... Не покупайте... Вам не втолкуешь! Вы скоро скажете, что у нее это не хвост, а нога... Не нужно. Вам же хотел одолжение сделать. Вахрамеев, коньяку!

Денщик подал еще коньяку. Приятели налили себе по стакану и задумались. Прошло полчаса в молчании.

– А хоть бы и женского пола... – прервал молчание поручик, угрюмо глядя на бутылку. – Удивительное дело! Для вас же лучше. Принесет вам щенят, а что ни щенок, то и четвертная... Всякий у вас охотно купит. Не знаю, почему это

вам так нравятся кобели! Суки в тысячу раз лучше. Женский пол и признательнее и привязчивее... Ну, уж если вы так боитесь женского пола, то извольте, берите за двадцать пять.

– Нет, голубчик... Ни копейки не дам. Во-первых, собака мне не нужна, а во-вторых, денег нет.

– Так бы и сказали раньше. Милка, пошла отсюда!

Денщик подал яичницу. Приятели принялись за нее и молча очистили сковороду.

– Хороший вы малый, Кнапс, честный... – сказал поручик, вытирая губы. – Жалко мне вас так отпускать, черт подери... Знаете что? Берите собаку даром!

– Куда же я ее, голубчик, возьму? – сказал Кнапс и вздохнул. – И кто у меня с ней возиться будет?

– Ну, не нужно, не нужно... черт с вами! Не хотите, и не нужно... Куда же вы? Сидите!

Кнапс, потягиваясь, встал и взялся за шапку.

– Пора, прощайте... – сказал он, зевая.

– Так постойте же, я вас провожу.

Дубов и Кнапс оделись и вышли на улицу. Первые сто шагов прошли молча.

– Вы не знаете, кому бы это отдать собаку? – начал поручик. – Нет ли у вас таких знакомых? Собака, вы видели, хорошая, породистая, но... мне решительно не нужна!

– Не знаю, милый... Какие же у меня тут знакомые?

До самой квартиры Кнапса приятели не сказали больше ни одного слова. Только когда Кнапс пожал поручику руку

и отворил свою калитку, Дубов кашлянул и как-то нерешительно выговорил:

– Вы не знаете, здешние живодеры собак принимают или нет?

– Должно быть, принимают... Наверное не могу сказать.

– Пошлю завтра с Вахрамеевым... Черт с ней, пусть с нее кожу сдерут... Мерзкая собака! Отвратительная! Мало того что нечистоту в комнатах завела, но еще в кухне вчера все мясо сожрала, п-п-подлая... Добро бы порода хорошая, а то черт знает что, помесь дворняжки со свиньей. Спокойной ночи!

– Прощайте! – сказал Кнапс.

Калитка хлопнула, и поручик остался один.

Размазня

На днях я пригласил к себе в кабинет гувернантку моих детей, Юлию Васильевну. Нужно было посчитаться.

– Садитесь, Юлия Васильевна! – сказал я ей. – Давайте посчитаемся. Вам наверное нужны деньги, а вы такая церемонная, что сами не спросите... Ну-с... Договорились мы с вами по тридцати рублей в месяц...

– По сорока...

– Нет, по тридцати... У меня записано... Я всегда платил гувернанткам по тридцати. Ну-с, прожили вы два месяца...

– Два месяца и пять дней...

– Ровно два месяца... У меня так записано. Следует вам, значит, шестьдесят рублей... Вычесть девять воскресений... вы ведь не занимались с Колей по воскресеньям, а гуляли только... да три праздника...

Юлия Васильевна вспыхнула и затеребила оборочку, но... ни слова!..

– Три праздника... Долой, следовательно, двенадцать рублей... Четыре дня Коля был болен и не было занятий... Вы занимались с одной только Варей... Три дня у вас болели зубы, и моя жена позволила вам не заниматься после обеда... Двенадцать и семь – девятнадцать. Вычесть... останется... гм... сорок один рубль... Верно?

Левый глаз Юлии Васильевны покраснел и наполнился

влажностью. Подбородок ее задрожал. Она нервно закашляла, за-
сморгнулась, но – ни слова!..



– Под Новый год вы разбили чайную чашку с блюдечком. Долой два рубля... Чашка стоит дороже, она фамильная, но... Бог с вами! Где наше не пропадало? Потом-с, по вашему недосмотру Коля полез на дерево и порвал себе сюртук... Долой десять... Горничная, тоже по вашему недосмотру, украла у Вари ботинки. Вы должны за всем смотреть. Вы жалованье получаете. Итак, значит, долой еще пять... Десятого января вы взяли у меня десять рублей...

– Я не брала, – шепнула Юлия Васильевна.

– Но у меня записано!

– Ну, пусть... хорошо.

– Из сорока одного вычесть двадцать семь – останется четырнадцать...

Оба глаза наполнились слезами... На длинном хорошеньком носике выступил пот. Бедная девочка!

– Я раз только брала, – сказала она дрожащим голосом. – Я у вашей супруги взяла три рубля... Больше не брала...

– Да? Ишь ведь, а у меня и не записано! Долой из четырнадцати три, останется одиннадцать... Вот вам ваши деньги, милейшая! Три... три, три... один и один... Получите-с!

И я подал ей одиннадцать рублей... Она взяла и дрожащими пальчиками сунула их в карман.

– Merci, – прошептала она.

Я вскочил и заходил по комнате. Меня охватила злость.

– За что же merci? – спросил я.

– За деньги...

– Но ведь я же вас обобрал, черт возьми, ограбил! Ведь я украл у вас! За что же мерсі?

– В других местах мне и вовсе не давали...

– Не давали? И немудрено! Я пошутил над вами, жестокий урок дал вам... Я отдам вам все ваши восемьдесят! Вон они в конверте для вас приготовлены! Но разве можно быть такой кислятиной? Отчего вы не протестуете? Чего молчите? Разве можно на этом свете не быть зубастой? Разве можно быть такой размазней?

Она кисло улыбнулась, и я прочел на ее лице: «Можно!»

Я попросил у нее прощения за жестокий урок и отдал ей, к великому ее удивлению, все восемьдесят. Она робко замерсикала и вышла... Я поглядел ей вслед и подумал: легко на этом свете быть сильным!

Шуточка

Ясный зимний полдень... Мороз крепок, трещит, и у Наденьки, которая держит меня под руку, покрываются серебристым инеем кудри на висках и пушок над верхней губой. Мы стоим на высокой горе. От наших ног до самой земли тянется покатая плоскость, в которую солнце глядится, как в зеркало. Возле нас маленькие санки, обитые ярко-красным сукном.

– Съедемте вниз, Надежда Петровна! – умоляю я. – Один только раз! Уверяю вас: мы останемся целы и невредимы.

Но Наденька боится. Все пространство от ее маленьких калош до конца ледяной горы кажется ей страшной, неизмеримо глубокой пропастью. У нее замирает дух и прерывается дыхание, когда она глядит вниз, когда я только предлагаю сесть в санки, но что же будет, если она рискнет полететь в пропасть! Она умрет, сойдет с ума.

– Умоляю вас! – говорю я. – Не надо бояться! Поймите же, это малодушие, трусость!

Наденька наконец уступает, и я по лицу вижу, что она уступает с опасностью для жизни. Я сажаю ее, бледную, дрожащую, в санки, обхватываю рукой и вместе с нею низвергаюсь в бездну.

Санки летят как пуля. Рассекаемый воздух бьет в лицо, ревет, свистит в ушах, рвет, больно щиплет от злости, хочет

сорвать с плеч голову. От напора ветра нет сил дышать. Кажется, сам дьявол обхватил нас лапами и с ревом тащит в ад. Окружающие предметы сливаются в одну длинную, стремительно бегущую полосу... Вот-вот еще мгновение, и кажется – мы погибнем!

– Я люблю вас, Надя! – говорю я вполголоса.

Санки начинают бежать все тише и тише, рев ветра и жужжанье полозьев не так уже страшны, дыхание перестает замирать, и мы наконец внизу. Наденька ни жива ни мертва. Она бледна, едва дышит... Я помогаю ей подняться.

– Ни за что в другой раз не поеду, – говорит она, глядя на меня широкими, полными ужаса глазами. – Ни за что на свете! Я едва не умерла!

Немного погодя она приходит в себя и уже вопросительно заглядывает мне в глаза: я ли сказал те четыре слова или же они только послышались ей в шуме вихря? А я стою возле нее, курю и внимательно рассматриваю свою перчатку.

Она берет меня под руку, и мы долго гуляем около горы. Загадка, видимо, не дает ей покою. Были сказаны те слова или нет? Да или нет? Да или нет? Это вопрос самолюбия, чести, жизни, счастья, вопрос очень важный, самый важный на свете. Наденька нетерпеливо, грустно, проникающим взором заглядывает мне в лицо, отвечает невпопад, ждет, не заговорю ли я. О, какая игра на этом милом лице, какая игра! Я вижу: она борется с собой, ей нужно что-то сказать, о чем-то спросить, но она не находит слов, ей неловко, страшно,

мешает радость...

– Знаете что? – говорит она, не глядя на меня.

– Что? – спрашиваю я.

– Давайте еще раз... прокатим.

Мы взбираемся по лестнице на гору. Опять я сажаю бледную, дрожащую Наденьку в санки, опять мы летим в страшную пропасть, опять ревет ветер и жужжат полозья, и опять при самом сильном и шумном разлете санок я говорю вполголоса:

– Я люблю вас, Наденька!

Когда санки останавливаются, Наденька окидывает взглядом гору, по которой мы только что катили, потом долго всматривается в мое лицо, вслушивается в мой голос, равнодушный и бесстрастный, и вся, вся, даже муфта и башлык ее, вся ее фигурка выражают крайнее недоумение. И на лице у нее написано: «В чем же дело? Кто произнес *те* слова? Он или мне только послышалось?»

Эта неизвестность беспокоит ее, выводит из терпения. Бедная девочка не отвечает на вопросы, хмурится, готова заплакать.

– Не пойти ли нам домой? – спрашиваю я.

– А мне... мне нравится это катанье, – говорит она, краснея. – Не проехаться ли нам еще раз?

Ей «нравится» это катанье, а между тем, садясь в санки, она, как и в те разы, бледна, еле дышит от страха, дрожит.

Мы спускаемся в третий раз, и я вижу, как она смотрит

мне в лицо, следит за моими губами. Но я прикладываю к губам платок, кашляю и, когда достигаем середины горы, успеваю вымолвить:

– Я люблю вас, Надя!

И загадка остается загадкой! Наденька молчит, о чем-то думает... Я провожаю ее с катка домой, она старается идти тише, замедляет шаги и все ждет, не скажу ли я ей тех слов. И я вижу, как страдает ее душа, как она делает усилия над собой, чтобы не сказать:

– Не может же быть, чтоб их говорил ветер! И я не хочу, чтобы это говорил ветер!

На другой день утром я получаю записочку: «Если пойдете сегодня на каток, то заходите за мной. *Н.*». И с этого дня я с Наденькой начинаю каждый день ходить на каток, и, слетая вниз на санках, я всякий раз произношу вполголоса одни и те же слова:

– Я люблю вас, Надя!

Скоро Наденька привыкает к этой фразе, как к вину или морфию. Она жить без нее не может. Правда, лететь с горы по-прежнему страшно, но теперь уже страх и опасность придают особое очарование словам о любви, словам, которые по-прежнему составляют загадку и томят душу. Подозреваются все те же двое: я и ветер... Кто из двух признается ей в любви, она не знает, но ей, по-видимому, уже все равно; из какого сосуда ни пить – все равно, лишь бы быть пьяным.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.